# Основная идея феноменологии Гуссерля: интенциональность

# Жан‑Поль Сартр

«Он пожирал ее глазами». Эта фраза, как и многие другие признаки, достаточно красноречиво свидетельствует об общей для реализма и идеализма иллюзии, будто познавать — значит есть. Французская философия после ста лет академизма .все еще не преодолела ее. Все мы читали Брюнсвика, Лаланда и Мейерсона, все мы думали, что Дух‑паук обволакивает вещи своей паутиной, покрывает их белой слюной и, медленно проглатывая, превращает их в свою собственную субстанцию. Что такое стол, скала, дом? Определенное сочетание «содержаний сознания», порядок этих содержаний. О питательная философия! Тем не менее ничто не казалось более очевидным: разве стол — это не действительное содержание моего восприятия, разве мое восприятие — это не наличное состояние моего сознания? Питание, усвоение, уподобление. Уподобление, как говорил Лаланд, вещей идеям, идей и духов друг другу. Самые толстые части остова мира были изъедены этими агрессивными ферментами: уподобление, унификация, отождествление. Напрасно наиболее простодушные и наиболее суровые из нас искали нечто твердое, нечто, наконец, что не было бы духом; нигде они не находили ничего, кроме обволакивающего и такого заметного тумана — самих себя.

Вопреки пищеварительной философии эмпириокритицизма, неокантианства, вопреки всякому «психологизму» Гуссерль не устает повторять, что невозможно растворить вещи в сознании. Допустим, вы видите это дерево. Но вы видите его в том самом месте, где оно растет — на обочине дороги, в облаке пыли, одинокое и скрюченное на жаре, в двадцати милях от средиземноморского берега. Оно не может войти в ваше сознание, ибо оно не той же природы, что и сознание. Вы полагаете, что узнаёте здесь Бергсона и первую‑главу «Материи и памяти». Но Гуссерль — отнюдь не реалист: из этого дерева на краю потрескавшейся земли он не делает абсолюта, который затем устанавливал бы связь с нами. Сознание и мир даны одновременно: мир, по своей сущности внешний для сознания, по своей сущности также тесно связан с ним. Гуссерль видит в сознании упрямый факт, который нельзя выразить никаким наглядным образом. За исключением, может быть, стремительного и темного образа прорыва. Познавать — это «прорываться к...», вырываться из влажной желудочной среды для того, чтобы убежать в сторону от себя, к тому, что не есть ты сам; быть перед деревом и в то же время вне его, ибо оно ускользает от меня и отталкивает меня, и я не могу проникнуть в него, равно как и оно не может раствориться во мне: убежать туда — вовне его, вовне себя. Не узнаёте ли вы в этом описании ваши стремления и ваши предчувствия? Ведь вы знали, что дерево — это не вы, что вы не можете заставить его войти в ваши темные желудки, и познание нельзя без натяжек сравнить с обладанием. Одновременно сознание очистило себя, оно прозрачно, как сильный ветер, в нем нет более ничего, кроме движения, чтобы убежать от себя, скольжения за свои пределы; если, против ожидания, вы проникли бы «в» сознание, вы были бы подхвачены стремительным вихрем и снова выброшены наружу, к дереву, в самую пыль, ибо сознание не имеет «внутренности», оно существует только вне самого себя, и именно это абсолютное убегание, этот отказ быть субстанцией определяют его в качестве сознания. Теперь представьте себе цепь прорывов, которые отрывают нас от нас самих, которые не дают «нам самим» даже времени сформироваться позади них, но которые, напротив, бросают нас в другую сторону, в сухую пыль мира, на ухабистую землю, в гущу вещей ; итак, представьте себе, что мы по самой нашей природе заброшены в безразличном мире, враждебном и непокорном, — тогда вы постигнете глубокий смысл открытия, которое Гуссерль выражает знаменитой фразой: «Любое сознание есть сознание о чем‑либо». Большего и не нужно для того, чтобы положить конец изнеженной философии имманентности, где все решается с помощью компромисса, протоплазменного обмена, с помощью вялой клеточной химия. Философия трансцендентности выводит нас на широкую дорогу, бросает в гущу опасностей при ослепительном свете. Бытие, говорит Хайдеггер, — это бытие‑в‑мире. Понимайте это «бытие‑в...» в смысле движения. Быть — это прорываться в мир, это исходить из небытия мира и сознания, чтобы внезапно прийти к сознанию-­прорывающемуся­в­мир. И пусть сознание пытается восстановить себя, совпасть в конце концов с самим собой — взаперти, в тепле и уюте оно исчезает. Эту необходимость для сознания существовать как сознание о какой‑либо отличной от него самого вещи Гуссерль и называет «интенциональностью».

Я сначала говорил о познании, чтобы меня лучше поняли: ведь сформировавшая нас французская философия не знает почти ничего, кроме эпистемологии. Но сознание, которым воспринимаются вещи, для Гуссерля и феноменологов отнюдь не ограничивается познанием этих вещей. Познанием или чистое «представление» — далеко не единственная возможная форма моего сознания об этом дереве; я мог бы также любить, опасаться, ненавидеть его, и это самостоятельное выхождение сознания за свои пределы, называемое интенциональностью, снова обретает себя в страхе, ненависти и любви. Ненавидеть другого — это еще один способ прорваться к нему, внезапно оказаться перед лицом незнакомца, у которого мы видели, у которого с самого начала ощущаем объективное качество «быть ненавистным». И вот вдруг знаменитый «субъективные» реакции — ненависть, любовь, страх, сочувствие, плававшие в зловонном рассоле Духа, сразу вырываются из этой среды; они суть только способы открытия мира. Сами вещи внезапно открываются нам как ненавистные, привлекательные, ужасные и приятные. Способность вселять ужас — именно *свойство* этой японской маски, свойство неисчерпаемое, неустранимое, определяющее самую ее сущность и отнюдь не сводящееся к совокупности наших субъективных реакций на кусок резного дерева. Гуссерль вновь внедрил ужас и очарование в сами вещи. Он возвратил нам мир художников и пророков: пугающий, враждебный, опасный, с убежищами благодати и любви. Он расчистил место для нового рассмотрения страстей, которое вдохновлялось бы такой простой и столь глубоко не понятой нашими изысканными интеллектуалами истиной: мы любим женщину именно потому, что она привлекательна. Вот мы и свободны от Пруста. Свободны одновременно от «внутренней жизни»: тщетно мы, как Амиель[[1]](#footnote-1), как обнимающий самого себя за плечи ребенок, искали бы ласки, неги нашей задушевности, потому что в конечном счете всё находится вне нас, всё — даже мы сами: вне нас, в мире, среди других. И не в каком‑то уединении мы будем изливать душу — это может быть на дороге, в городе, в гуще толпы: вещь — среди вещей, человек— среди людей.

Январь 1939 г.

1. Амиель, Анри Фредерик (1821—1881) — швейцарский философ и поэт. В своих произведениях и днев­ни­ках («Отрывки из неизданного дневника») сосредотачивал внимание на задушевности, внутренней на­сы­щенности мысли и чувства. (Прим. Пер.) [↑](#footnote-ref-1)